

«БЫЛА ТАКАЯ ДЕВОЧКА, ВЛЮБЛЕННАЯ В ТЕАТР...»

КАМА ГИНКАС

Я репетирую «Пять углов» Сережи Коковкина в филиале театра Моссовета, на Фрунзенской набережной, возле окружной железной дороги. Это мой первый опыт в столице.

Наступает момент, когда почти все уже сделано. Артисты (замечательные артисты) – Нина Дробышева, Евгений Стеблов, Проханов, Кузнецова ходят по нужным мизансценам, говорят осмысленно, музыка играет... Кажется и тонкостей разных добился, но... Все мертво (или это только кажется).

Тогда я решаю, что нужно позвать какую-нибудь девочку, прямо с улицы, лучше всего лет 15–16-ти... Пусть она сядет в первом ряду и совсем близко от себя (тем более на малой сцене) увидит живую артистку или артиста, и будет счастлива, от того что ее допустили до репетиций. Я так уже делал прежде. Актеры оживали, когда вдруг видели перед собой не напряженную морду режиссера, а восторженное лицо очень молодого, непосредственного человека.

Театральный критик Володя Оренов говорит: «Есть такая девочка, влюбленная в театр...». Это и была Наташа. Черноволосая, черноглазая, стеснительная, совершенно лучезарная девочка... Наташа Казьмина спасла и родила мой спектакль. Я это всегда и всем повторял. Я помню день и час, когда это произошло. Все, что было мертво, все, что исполнялось механически, вдруг ожило. Спасла она не умными словами и советами, которые были мне не очень-то интересны, а своей открытостью, радостью встречи с театром... Я даже толком не понимал, с кем говорю. Просто на просто видел, что какая-то милая девочка-студенточка восторженно смотрит на актеров, на меня, на каждого человека, только потому, что тот работает в театре. Я почему-то был уверен, что Наташа была студенткой, а оказалось, что она

уже окончила Московский университет и работала в журнале «Театр».

С этого момента мы стали с ней общаться. Не то, чтобы дружить, а общаться. Она не была нашим записным критиком, держалась на расстоянии. Я не помню статей, где бы она нас ругала. Из деликатности? Думаю, что нет. Я даже уверен, что нет. Возможно, Наташа что-то пропускала, не писала о спектаклях, которые ей не очень нравились, не казались ей близкими или удачными.

Когда мы стали делать книгу, выяснилось, что у нее есть огромное количество больших, очень глубоких интервью со мной и с Гетой. Она ведь почти не печаталась в газетах, а печаталась в журналах и сборниках, в журнале – «Вопросы театра. Prosaenium», писала такие статьи, которые давно уже никто не пишет. То, что пишется сегодня чаще всего не театроведение и не критика. Это информация со знаком плюс или со знаком минус, иногда с четырьмя плюсами или четырьмя минусами. Наташа даже тогда, когда речь шла о том, что ей не нравилось, была тем редким человеком, который писал прямо, откровенно даже о маститых театрах, о знаменитых артистах и режиссерах, о столпах и «звездах», влиятельных и злопамятных, вообще о тех людях и явлениях, которые кажутся знамением времени. Она писала спокойно и профессионально, терпеливо убеждая, почему ей то или иное театральное явление кажется плохим. Не боялась, что ее назовут ретроградом. Такой уж она была человек.

Свои развернутые театроведческие разборы она давала в современном и историческом контекстах, и еще в контексте драматурга, режиссера, артистов. Чаще всего – именно режиссера. Поэтому было не важно (не страшно) оценивает она тебя со знаком плюс или минус. Ты чувствовал, что находишься в каком-то большом, объемном художественном процессе,

Памяти Наташи Казьминой

потоке. Читаешь ли ее статью про сегодняшний Художественный театр, про табаковские спектакли, про Фоменко, про Гету или про меня, ты непременно чувствуешь, что пишет человек, погруженный в контекст, в том числе и европейский. А значит, и ты в нем находишься.

Она очень хорошо ориентировалась в польском театре, который всегда находился в авангарде европейского театрального движения. Она даже польский язык выучила. Замечательно написала о Канторе, лучше всех – о спектаклях Варликовского, которые недавно привозили в Москву. Достаточно хорошо знала немецкий театр. Она была истинным театроведом. Причем – не сухой ученой воблой, а страстным человеком, который замечательно чувствует живой и мертвый театр, может объяснить, почему он мертвый, дать нам почувствовать запах этой мертвечины.

Книги критиков сегодня – это, как правило, собрание маленьких, осколочных статей, опубликованных в газетах. Кажется, что там есть картина времени, на самом деле, – ее нет. Даже если книга написана способным человеком. Есть лишь фиксация момента, беглое запечатление. Нет ракурса, нет контекста и перспективы видения. Сегодня ветер подул туда, завтра – в другую сторону. Сегодня холодно, потом будет жарко. Пройдет несколько лет и многое, если не все, покажется случайным, несущественным, ложным. И так жаль, что Наташа Казьмина не успела написать с в о е й книги о современном театре.

Профессия критика психологически и физиологически ужасающе сложна. Я даже не понимаю, как это каждый день или несколько раз в неделю ходить в театр, постоянно смотреть спектакли, большинство из которых плохие. Смотреть все, словно в первый раз, словно ребенок с улицы или как юная Наташа, которая когда-то пришла на мои «Пять углов», и так, чтобы не «замыливался» глаз.

Кроме всего, Наташа умела разобраться как, и что сделано. Это очень редко. Более того, она могла тонко, талантливо, литературно, зримо обо всем написать. Обмануть ее было трудно. Она безошибочно распознавала подделку, имитацию, пошлость и глупость на сцене, эффектное шарлатанство.

Читаешь большие Наташины статьи и чувствуешь запах Розы спектакля, и то, что рядом с этой Розой есть другие ароматные цветы...

Она одна из немногих, быть может, – из последних. Ужасно, что самые важные слова мы говорим после смерти. При жизни как-то неудобно было их говорить. Хотя мне всегда было ясно, что Наташа Казьмина, с ее спокойным, основательным и ярким письмом, была редко-стно одаренный человек, я бы даже сказал, – уникально одаренный. Когда она умерла, мне показалось, что выпала не одна клавиша, а исчезла почти вся клавиатура. Остались отдельные, единичные клавиши. Их совсем мало. И могут ли они звучать совместно друг с другом? Или уже некому и не с кем звучать?

Она была еще жива, когда утром позвонила ее мама, которую я не знал, и сказала, что Наташу увезли прямо из вестибюля «Современника», что у нее инсульт, что сейчас она в больнице и нельзя ли попробовать перевезти ее в другую – специализированную, и не можем ли мы помочь? Естественно, что мы немедленно связались с кем могли. Но выяснилось, что трогать больную с места нельзя, что вообще все бессмысленно и бесполезно. Аневризму заранее распознать трудно, почти невозможно. Она может в любую минуту рвануть. Пушкин знал, что у него аневризма. Просился выехать в Европу на лечение, пугал своей болезнью Царя, Бенкендорфа, влиятельных друзей...

Смерть Наташи Казьминой была неожиданна и страшна. Невероятно, что умерла веселая, красивая, молодая, энергичная женщина, которая только что была у нас на празднике, звонила два дня назад, делилась впечатлениями...

Она была потрясающий человек. Не похожий ни на меня, ни на Гету, ни на кого из знакомых нам театральных людей. Все мы, когда хоть немножко трудно, начинаем, ойкать и айкать. Когда бывает совсем уж невыносимо, «грузим», отягощаем собой других, обожаем рассказывать собственную жизнь. Я бы сказал – ужасы своей жизни. На откровение: «Вот у меня такое!..», прерывая собеседника, немедленно отвечаем: «И у меня то же самое, только еще хуже!..». Ничего подобного ни разу от Наташи я не слышал.

Я знал, что она замужем. Что у нее взрослые дети. Никогда не видел их, по рассказам, – прекрасных, красивых детей, ничего о них не слышал... Но они же были! Они росли! И наверное, время от времени возникали проблемы, сложности в школе и дома...

Я не помню, чтобы она хоть раз пожаловалась, разоткровенничалась, поделилась заботами и печалью, хотя последние пять лет мы были очень близки, поскольку занимались общей книгой. Это очень непохоже на нашего русско-советского человека. Мы приходим куда-нибудь и обязательно приносим с собой свое настроение. У нас на лице все написано, и попробуй собеседник этого не заметить! Мы ужасно обижаемся, злимся, если партнер не обеспокоится тем, что «мне плохо».

Я прожил и проработал много лет в Финляндии. Однажды узнал, что у моего артиста, играющего Макбета, серьезные домашние неприятности. По утрам я его спрашивал, как дела? И он неизменно отвечал: «Все в порядке». Ему и в голову не приходило рассказать о том, что происходит в его семье. Хотя режиссер и артист во время репетиций сближаются необыкновенно.

В этом смысле и Наташа была западным, европейским, «закрытым» для посторонних человеком. Казалось, что все у нее нормально, хорошо. Однако я думаю, что ей жилось нелегко.

Я донимал ее тем, что занятая множеством дел – театром, журналом, семьей, ежевечерним посещением спектаклей, написанием статей, (писать она очень любила), она слишком медленно делает нашу книгу. У меня не хватало терпения. Многое сам дописывал, компоновал, сокращал, как мог – редактировал. Мне было трудно. Я не умею печатать на компьютере. Я ее донимал. Но в последнее время все чаще понимал, что попадаю на какое-то трудное ее настроение. Она была другая, чем обычно. Я звонил ей домой, напоминал, что хорошо бы нам поработать над рукописью... Мне казалось, что она не могла оторваться от живого театра. Можно было бы назвать статью о ней: «Она любила театр», или «Критик, который любил театр». (Сегодня звучит почти смешно!)

Когда из издательства последовало предложение написать книгу, мы выбрали Наташу едва ли не случайно и не ошиблись. Расшифровывая диктофонные записи, редактируя, шлифуя, выстраивая тексты, Наташа замечательно переводила нашу частную болтовню, диалоги-монологи, иногда более, иногда менее глубокие в какое-то свое объективно-субъективное ощущение нас обоих и нашего времени. По книге ясно, насколько она нам близка и при этом способна отстраняться, сохранять дистанцию. Яркий, оригинальный литератор, она как будто бы добровольно самоустранялась, как посредник, заботилась о сохранении стиля, ритмов, лексики, даже пунктуации нашей речи. Три части книги придуманы ею замечательно. Первая должна быть озаглавлена – «Иллюзия театра», вторая – «Иллюзия жизни», третья – «Без иллюзий». Она и название предложила: «Жизнь прекрасна по Гинкасу и Яновской» (так она заявила в журнале «Знамя», где был опубликован большой кусок рукописи – 2012, №5).

Мы рассказывали вразброс. Слышен диалог двоих. (Есть и такой текст – о мужской и женской режиссуре.) Но кончался большой период рассказанной нами жизни, и вдруг следовал замечательный текст, написанный самой Наташей, огромная ее статья о «Пушкине и Натали». Совсем не рецензия. Скорее – воспоминание, ощущение, видение, портрет времени, пушкинского и нашего. Я даже не знаю, была ли она опубликована или осталась написанной для себя. А потом была еще одна – «Пушкин. Дуэль. Смерть». В финале следующего блока потрясающая рецензия на «Трамвай "Желание"». Далее – огромное интервью со мной после «Полифонии мира». Не знаю, как они будут скомпонованы – наши и Наташины куски. Напечатать их приложением? Или издать отдельно, в дополнение и обогащение книги? Это не совсем книга о театре, скорее роман нашей жизни. Она почти готова, но, увы, завершать ее мы будем сами.

Мне особенно нравится одно место, о том, как они с Гетой сидят на качелях, поздним летом, у нас даче, разговаривают обо всем, о том, что пора снимать яблоки с яблонь, забыв о диктофоне... Зовут меня, а я не иду.

Памяти Наташи Казьминой

Мы трое – Наташа, Гета, я существовали тогда радостно и свободно. Она прожила у нас несколько дней. Приезжала работать. Купалась в бассейне. Ходила с Гетой в лес...

ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ

Наташа Казьмина была абсолютно самостоятельной фигурой, не вписывалась в общий хор критиков. Влюблялась в театр, в театральные люди. Могла разочаровываться, видеть недостатки. Глубоко входила в театральную реальность. Она была талантлива, а о талантливом человеке рассказывать трудно. Чувствовала театр и умела передать увиденное. Очень хорошо писала, что сегодня редкость. Ныне возобладали отношение «на бегу», скольжение по верхам. От критиков-газетчиков, рвущихся не только на премьеру, но и на не готовый прогон, постоянно слышишь: «Мы не можем смотреть спектакль завтра или послезавтра, нам нужно написать о нем сегодня ночью и опубликоваться первыми. Позже нам спектакль не нужен». И печатают заметку, в которой нет ни углубления в театр, ни поиска сходства и различия, сближений и корней... Есть подгонка под мысль, которая неизвестно почему пришла пишущему в голову. В нынешнем месиве театра и театральной писанины постоянно идет подгонка под случайные мысли критиков. Если что-то не «подгоняется», оно попросту исчезает.

Наташа была не такая. Пока мы работали с книгой, мы стали очень близко друг к другу. В последнее время, она говорила: «Я теряюсь. Смотрю на людей нашего цеха и думаю, неужели они просто-напросто ничего не видят?..» Очень грустно она говорила о том, что происходит с ее коллегами.

Вот я сейчас разговаривала по телефону с Сережей Бархиным. Сидела под дверью и ждала, когда Кама кончит рассказывать о Наташе и меня «запустят». И вдруг Сережа спрашивает: «Откуда она взялась, эта Казьмина? Очаровательная женщина и очень привлекательный человек». Я стала объяснять, что Наташа окончила факультет журналистики МГУ, работала в журнале «Театр»... Он меня перебивает: «Да я не об этом... Откуда она взялась в вашей жизни? И почему именно ей,

а не кому другому, вы дали делать вашу книгу?». Тогда я даже не нашлась, что ему ответить. Узнав, что Наташи больше нет, Сережа сказал несколько прекрасных, необыкновенных слов.

Она «взялась», возникла в нашей жизни как-то постепенно. Ходила на спектакли, писала или не писала о них. Мы разговаривали. Когда я читала ее статьи, даже не обо мне или Кама, а о ком-нибудь другом, мне всегда было бесконечно интересно. Она писала остро. И за любым спектаклем в ее статьях всегда стоял человек. Это означало, что у самой Наташи Казьминой был не только профессиональный, а настоящий человеческий интерес к театру, к театральным людям.

Она появлялась в нашем театре неожиданно. Порой заходила даже не на спектакль и не для того, чтобы взять интервью. Вдруг пришла перед Новым годом и принесла какого-то прелестного кукольного Паяца. Меня это невероятно тронуло.

Несчастье случилось в пятницу вечером, когда ее увезли из театра «Современник». Перед этим в четверг мы долго разговаривали по телефону. Очень долго. Во вторник она была на нашей юбилейной «Грозе», которая шла в последний раз. После праздника я сидела вымочаленная, усталая, а она вдруг говорит: «Ох, как бы мне хотелось посоветоваться...». Я подняла на нее глаза, настолько это было на нее не похоже, боялась, что она что-нибудь про нашу книгу начнет спрашивать или захочет добавить кусок в интервью со мной. Говорю: «Ну, давай советовать...». А она заторопилась: «Нет, нет, не сейчас. Через несколько дней...». Так мы и не посоветовались.

Мне отчаянно грустно...

Я никогда не думала, что ей захочется работать в театре. Мне это и в голову не приходило. Когда она пошла завлитом к Левитину, я была очень удивлена. И порадовалась за Мишу. Иметь в театре такого человека, каждый день видеть Наташу рядом с собой, – это счастье. В ней чувствовалась основательность и порядочность. На нее можно было положиться и быть спокойной, спина с тыла была надежно защищена.

Вот она пришла в театр к Левитину. Любимый ее театр или не любимый, я не знаю. Мы никогда не трогали эту тему. Но вот сидим мы

Про настоящее

DM



Наташа Казьмина.
Разные годы жизни.
Дома, в семье,
в журнале «Театр»

Памяти Наташи Казьминой

однажды на даче. Возле нас железной дороги нет. До ближайшей электрички девять километров. Восхитительно! – если, конечно, ты за рулем. Водитель должен приехать за нами в понедельник часа в четыре, отвезти на вечернюю репетицию. Значит, можно побыть на природе, на воздухе еще полдня. А Наташа вдруг объявляет, что поедет в Москву рано утром. Встанет, мы вызовем такси, а в Тучково сядет на поезд. Потому что у Левитина телевизионная запись, и он любит, когда она сидит рядом, слушает и смотрит. Мы ее долго уговариваем. Но утром она уехала, потому что у Миши «запись». Ему легче, ему нравится, когда она есть. Так она считала. Так, очевидно, и было на самом деле. Здесь ее верность! При том, что это не многолетняя «связь». Она пришла в «Эрмитаж» сравнительно недавно. Но она туда пришла и теперь отвечала за «место», несла ответственность за то, чтобы человеку, с которым она работает, было хорошо и комфортно.

Когда мы разговаривали, она не демонстрировала себя. Сегодня это тоже большая редкость. Даже когда у тебя берут интервью, ты чувствуешь, как самоутверждается журналист, словно кричит беззвучно: «Я сам! Сам!...». Спрашивает и не слушает ответа, спешит проявиться. Наташе в разговоре был интересен партнер. Она не сразу открывала собственную точку зрения.

Когда ко мне пришел издатель Захаров с предложением делать книгу «про меня», я в ужасе закричала, замахала руками: «Нет, нет, не хочу!...». А он, человек упрямый сразу предложил заключить договор и выплатить аванс, чтобы я почувствовала, что книга началась. Я опять: «Ни за что!» Потому что для меня мука даже тогда, когда я даю интервью. А уж книга!.. Столько перескоков в памяти, видений жизни... Это длинная история. Я очень не хотела книги. Кажется, все уже рассказано или не рассказано ничего. Захаров слинял. Потом было еще одно предложение. А в последний раз возникло серьезное и уважаемое издательство «Вагриус». И предложение касалось уже не меня лично, а нас обоих. Я почувствовала, что не вправе отказаться. Но поначалу отговаривалась даже тогда, когда Наташа приезжала к

нам на дачу работать, отсылала ее к Капе. Было очень хорошо, что она приезжала. Я бы не могла делать книгу, если бы не это близкое общение с Наташей в городе, в театре, но особенно на даче. Вставания по утрам, приготовление завтрака... Я бездумно, бездельно шмоналась по дому, а потом уже начинался разговор. Нашу беседу мы обе старались сделать как можно менее похожей на работу. Разговаривали в комнатах, или на воздухе, в саду. Помню, как скинув босоножки, мы сидели на качелях. У нас чудная есть скамья – качели. И вот мы сидим и чувствуем ступнями теплую землю. А в доме Кама чего-то ходит...

Больше всего мне нравилось, когда она включала диктофон незаметно для меня, и он просто лежал на столе. А мы могли в это время даже блинчики печь. Она работала с Камой, а у меня на плите вдруг разваливались сырники. Тогда Наташа шла ко мне на кухню и начинала их поправлять. Я радовалась, следя за тем, как ловко, спокойно, красиво все у нее получается. Мне было с ней уютно. Ей были интересны и мои кухонные рецепты.

Иногда диалоги возникали, когда вообще не было диктофона. Не знаю, вошли они в книгу или не вошли.

Последние годы мы встречались часто. Я слышала интересные вопросы, мне интересно было на них отвечать. Режиссура ее особенно увлекала. Она великолепно ее чувствовала, много и хорошо писала о людях режиссерской профессии, посвящала нам и нашим коллегам многие, лучшие свои статьи. Но ее всегда интересовал человеческий аспект, наши жизни, наши поступки.

Я рассказывала ей не столько о спектаклях, одни из которых она видела, другие не видела, сколько о пути, по которому к ним приходила. Я говорила ей о том, как рождалась та или иная сцена. Ведь даже если критик присутствует на репетиции, многое от него скрыто. Совершенно ей доверяя, я рассказывала о своих ошибках.

У меня никогда не было ощущения, что Наташа меня оценивает, анализирует. Я думаю, что ей просто нравились мои спектакли. У меня с ними отношения «семейные». За всю жизнь я поставила их немного. Они кровью сделаны. Наташа любила «Грозу», «Трамвай "Желание"»...



Ни с кем мне не было так легко, как с ней. Я никогда не сужу о чужих работах; молчу, увиливая, произношу вежливое «спасибо» или «большое спасибо». Когда восхищаюсь, то могу что-то сказать. А с Наташей говорила совершенно откровенно, подробно, долго. Даже об очень популярных, знаменитых постановках могла высказаться честно. С кем-нибудь другим не произнесла бы ни слова. Потому что судить – не моя профессия.

Она была красивая, обаятельная, умная, веселая, талантливая, и что очень важно – истинная женщина. И поэтому жил в ней такой сильный интерес к партнеру, а не самовыявление при всяком удобном случае. Она умела создать атмосферу, теплый угол, жизнь вокруг себя. Чтобы всем было удобно. Чтоб мне легче было говорить. Когда я начинала нить, что Гинкас и один все расскажет, она не только не обижалась, но, кажется, меня жалела, чувствовала, насколько мне трудно и я все время переводила дыхание.

Я не знала, о чем она хотела посоветоваться со мной. Думаю, что не о семейной жизни. О чем-то очень серьезном. Ей было очень тяжело в создавшейся театральной ситуации, я это ощущала. Как и мне, ей трудно было дышать. Ее огорчало, обескураживало то, во что превратилась ее профессия.

Я многое поняла, когда я увидела, какое количество ее коллег не пришло на похороны. Как это могло случиться?! Нет, я не пересчитывала по фамилиям. Может быть, я кого-то и не увидела. Я вижу не очень хорошо. Но я подумала тогда, что такому глубокому человеку, как Наташа было тяжело и душно в этом мелком мире. Ведь дело не в том, пришли они или не пришли проститься. Это факт их биографии. Я очень люблю фразу Михаила Светлова. Не помню, к кому она была обращена. К кому-то из писателей, с которым у Михаила Аркадьевича были отнюдь не «братские» отношения. Они очередной раз пособачились, и вдруг Светлов сказал: «То ли вы надо мной, то ли я над вами буду стоять в почетном карауле». Вот так. Смерть всех примирят. Поэтому, когда я поняла, что не для всех коллег гибель Наташи стала оглушительным событием, я подумала про них, а не про нее. Насколько это мелко! Мелко по щиколотку.

Каждая ее статья была укором многим. Очень больно и очень несправедливо, что она умерла. Главное ощущение после этой ранней, внезапной смерти, – несправедливо.

Ее мама фантастически держалась в те последние в жизни Наташи сутки. Она позвонила нам в субботу утром. Наташа еще была жива и мы были на связи. Мы искали и находили врачей. Мы и Валера Фокин. И все ждали, что будет дальше. И о том, что Наташи не стало, мне сказала ее мама. Это какой-то невероятный уровень мужества, – так держаться.

Я не хотела, чтобы Наташа мне что-либо из книги читала. И вдруг Кама говорит, дай я тебе что-нибудь прочту и читает кусок, от которого я просто обалдеваю. Наташа нашла этот кусок в книге, изданной во Франции, – о шестидесятих–семидесятих годах в Питере. Там написано и обо мне. Каким образом она эту неизвестную в России книжку обнаружила? Значит, копалась, искала... Она работала очень серьезно, медленно, долго, иначе книга давно была бы издана.

Сначала наговоренное нами расшифровала она сама. Потом, позвала кого-то для первоначальной работы. Кама ей все время мотал кишки, чтобы она делала побыстрее...

Она всегда торопилась домой. Жаловалась: «Вот они ничего мне не говорят, а Сандрик, сын, оказывается, завтра идет на операцию, с ногой неблагоприятно... Ничего не сказал, а завтра – операция». Через несколько дней спрашиваю, что там с Сандриком?. Она отвечает лаконично, как всегда: «Ничего, все в порядке». А последнее лето она не могла заниматься книгой, все ее время было посвящено девочке, дочке поступавшей в институт.

Такой ужас ее смерть. Мы иногда говорим с Машей Седых, и вдруг кто-то из нас произносит: «Надо Наташку спросить...». Вспоминаешь сразу улыбку, глаза, поворот головы, Наташу на нашей даче. У нас есть друзья, которые приезжают на одну–две ночи. И Наташа тоже приезжала, нечасто.

У меня есть кладовка с полками, со стеллажами, и там лежат простынь, одеяло в пододеяльнике, полотенце и подушка. Это – Наташино. Все это долго лежало и после ее смерти, в ожидании, когда она придет в следующий раз.